
593. м

ФРАНЦ МЕРИНГ

В эпоху войны и Краха Интернационала

перевод с немецкого Г. ГИМЕЛЬФАРБА



1 экз

ПЕТЕРБУРГ
1919 Г.

КЛАРА ЦЕТКИН.

(3-го июля 1917 года).

Лицемер, льстец! Так говорили во времена священной Римской империи. Этими злыми словами хотели осмеять вкрадчивый, вежливый, уступчивый характер племени Верхней Саксонии. Но, как насмешка, оно попадало мимо цели, потому что Саксония издавна могла каждому Геллерту противопоставить Лессинга, каждому слабому и мягкому характеру противопоставить решительного и деятельного борца. Какая блестящая плеяда буйных бойцов—Пуфендорф и Томазиус, весь ряд от Лессинга и Фихте до Рихарда Вагнера и, в своем особом роде, Генрих Трейчке!

Подлинная боевая натура и та дочь страны, которой мы сегодня, ко дню ее шестидесятилетия, приносим наши самые искренние и самые сердечные поздравления. Она принадлежала к названному германскому поколению саксонского племени. Ей чужда та навязчивая вежливость, которая накладывает на человека печать лицемерия, и ей присущ тот неподдельный душевный такт, который всегда, сознательно или бессознательно, заставляет поступать так, как это отвечает словам греческой королевны: «Не для человеконенавистничества, а для любви я на земле». Это гармоническое сочетание человеческой доброты и человеческой страсти составляет все существо нашего друга; ее ненависть к угнетателям совпадает с ее любовью к угнетенным.

Клара Эйзнер—рожденная саксонка, и в Лейпциге она под руководством Элизы Шмидт готовилась к званию учительницы. Она с раннего возраста отличалась исключительными способностями, в особенности в области языковедения. Но глубже всего ее захватили идеи социализма, который в семидесятые годы прошлого столетия быстро распространялся в Саксонии. В идеях социализма ее горячее сердце и

светлый ум нашли полное удовлетворение. Но она никогда не забывала мудрых слов Натана, что благоговейно мечтать гораздо легче, чем хорошо поступать, и она не только воспламенялась возвышенными целями социализма, но не менее усердно и основательно изучала пути и средства к его практическому осуществлению; теория и практика всегда находились у нее в счастливом равновесии.

Под давлением закона против социалистов в Германии для молодой боевой натуры оставалось слишком узкое поле деятельности. Она уехала за-границу, в Швейцарию, где тесно подружилась с четой Моттелер и принимала деятельное участие в распространении «Социалдемократа»; потом она переехала в Париж, где часто встречалась с Лаурой Лафарг, дочерью Карла Маркса, и заключила брачный союз с русским эмигрантом, Осипом Цеткиным. Смерть болезненного супруга слишком рано расторгла брак, но у молодой вдовы осталось два цветущих мальчика. На долю этой натуры все всегда приходилось в высшей мере—так и материнские горести и радости: горести—потому, что она принуждена была вести очень тяжелую и иногда почти невыносимую борьбу за существование для того, чтобы выполнить свой долг по отношению к детям; радости—ибо ей удалось воспитать из обоих хороших граждан, которыми она имеет право гордиться.

Историческая деятельность Клары Цеткин, обеспечивающая ей прочный и продолжительный памятник в современном движении, началась с отмены закона против социалистов, которая дала ей возможность возвратиться в Германию. Она взяла на себя редактирование «Равенства», чахлого и почти захирелого листка, и создала из него тот могучий орган, который дал интернациональному женскому социалистическому движению опору и направление. Но редактированием этого журнала и руководящей ролью в женском движении далеко не исчерпывалась ее исключительная деятельность. Она была всегда там, где могла принести пользу, и не было ни одной избирательной кампании, в которой она не принимала бы горячего участия. Но главным нервом и сущностью ее многолетней работы было все-таки то, что она выросла в ней до первой учительницы и руководительницы социалистического женского Интернационала, как таковая, радостно признается и приветствуется везде, [illegible] женские сердца бьются за осво-

бождение их пола и их класса от оков недостойного рабства.

Полный комплект «Равенства»—неувядаемый памятник Кларе Цеткин. Все годы журнал стоял на высоте социалистических принципов, так как в знании марксистской теории немногие живущие могут померяться с Кларой Цеткин, и, несомненно, ни один не превосходит ее в познании. Но она никогда не погружалась в бесплодные мудрствования, которые под маской учености ослабляют сознательность и силу воли рабочих. Этого различия, конечно, не понимают мещане, которые жалуются на «непонятность» «Равенства» и, вместо «трудно читаемых» статей товарища Клары Цеткин. рекомендуют шейдемановцам свое популярное зелье, совсем как когда-то Шульце-Делич, который поистине, кажется, снова встал из гроба, расхваливал и предлагал свою кисельную болтовню взамен Лассаля. Но заслугой «Равенства» было также то, что этот журнал не только побуждал своих читательниц к практической работе и теоретическому познанию, но и эстетически развивал их: его литературные приложения были всегда составлены с изысканным вкусом.

В эти годы и десятилетия Клара Цеткин счастливо жила,—так богаты они были всегда работой, трудами и заботами, от которых сильно пострадало ее здоровье. Какое более прекрасное достижение может быть для социалистического борца, как участвовать в великом деле освобождения человечества с таким успехом, который с каждым днем все более подтверждается! И если она не могла собрать богатств, которых никогда не желала, то ей все же под конец не нужно было мучиться под тяжестью повседневной нужды. Ее подрастающие сыновья доставляли ей только радости; ее вторичный брак с Фридрихом Цунделем, высокоталантливым художником, протекает очень счастливо; домик с садиком на холме возле Штутгарта предоставил ей тот домашний уют, который так благодетелен для умственного труда.

Но вот разразилась катастрофа 4-го августа—страшный удар. Невыразимую боль причинил он нашей подруге, но она не поколебалась под развалинами. Она была среди первых, поднявших свой голос против великого распада, и с упорством испытанной журналистки продолжала она свою работу. И ей пришлось бороться с величайшими трудностями! Всетаки, несмотря на все—несмотря на серьезную болезнь, продолжающуюся уже два года, несмотря на тревогу за сы-

новей, которые оба в качестве врачей находятся на позициях, несмотря на заботу о муже, который разрушил свое здоровье на службе в Красном Кресте,—Клара Цеткин продолжает мужественно держаться на том трудном, но славном посту, на котором стоять повелевают ей ее совесть и сознание долга. И верной остались верны женщины, что, должно быть, и послужило поводом к «смешному бесчинству», учиненному над Кларой Цеткин шейдемановцами, всунувшими ей книжку прислуги с отметкой: «Расчитана за непослушание и непонятливость». Никогда еще ограниченность не заключала более тесного союза с гнусной злобой! Но все, для которых социализм нечто большее, чем звонкая медь и звенящая погремушка, или средство сделать карьеру, должны выковать новый меч, которым Клара Цеткин смогла бы действовать во славу нашего великого дела. И мы уверены, что, прежде всего, женщины подумают об этом. День шестидесятилетия Клары Цеткин пусть станет для нее началом второй молодости. Это пожелание должно родить то дело, которое вольет в нашего вождя новую жизнь и свежие силы для славного продолжения той борьбы, которую она с честью вела уже столько лет.

«ПАРЛАМЕНТАРИЗАЦИЯ».

(26-го июля 1917 года).

Если сравнить положительные и отрицательные результаты, так называемого, «кризиса», который разразился в рейхстаге в только что закончившуюся сессию, то, по своей внутренней сущности, они отличаются друг от друга тем, что положительные результаты точно так же висят в воздухе, как отрицательные результаты—неоспоримые факты.

К положительным результатам относится замена имперского канцлера прежним товарищем министра, Михаэлисом; только жаль, что никто не знает и пока не дано ни малейшей гарантии, менее всего во вступительной речи нового канцлера, что он будет проводить другую или даже лучшую политику, нежели его предшественник. Далее, император и прусский король обязался провести равное избирательное право в прусском государстве; только жалко, что окончательное решение этого вопроса зависит от прусского парла-

мента, обе палаты которого, как известно, настроены непримиримо-враждебно по отношению к демократической избирательной реформе. Наконец, рейхстаг, большинством трех четвертей голосов, принял резолюцию, в которой требуется мир без аннексий и контрибуций; только жаль, что она составлена достаточно неясно и двусмысленно для того, чтобы сделать возможным для одного из ее инициаторов толкование в том духе, будто она нисколько не исключает аннексий и контрибуций, и этим вынудить от нового имперского канцлера признание, что он присоединяется к ней, т. е. к тому, как он захочет ее понимать...

Если, таким образом, положительные результаты «кризиса» весьма сомнительного рода, то его отрицательные результаты, а именно: провал всех попыток «парламентизировать» немецкие конституционные условия—вне всякого сомнения. Наоборот, никогда еще при прежних кризисах рейхстаг не был так отстранен, как при этом, так называемом, «кризисе»; никогда он еще не находился так абсолютно, как удачно выразился «Берлинер Тагеблат», во власти «системы не поддающихся контролю роковых сил», а это менее всего достойно великого народа. Никогда еще немецкий имперский канцлер или прусский министр-президент не был при своем назначении в политическом смысле таким неисписанным листом, как г. Михаэлис. Никто не знает, по чьей рекомендации, по каким мотивам, из каких соображений, почему и для чего он назначен руководящим сановником Германской империи. Он сам нисколько не развил перед рейхстагом какой-либо политической программы и скользил по поверхности текущих вопросов так, с такими осторожными и тщательно взвешенными стилистическими оборотами речи, как несут очень ломкие вещи по опасной мостовой. И после того, как он молчаливо выслушал громовые речи господ фон-Пайера и Шейдемана, он отправил послушный рейхстаг домой, предварительно заставив его большинство выложить себе на стол 15 миллиардов новых военных кредитов.

Трудно себе представить более основательный провал «парламентаризации», но он вполне понятен. Как известно, первым поводом к так называемому «кризису» послужило резкое выступление депутата Эрцбергера 6-го июля на пленуме рейхстага против «военной» политики Бетман-Гольвега. Г. Эрцбергер—клерикальный агитатор, который соперничал

с Шейдеманом в политике «устоять во что бы то ни стало», но превосходит эту родственную по духу натуру в искусстве политического почина, как, сравнивая малое с большим,— Виндтгорст в этом превосходил Бисмарка. Чем больше росла жажда мира в рабочих массах и чем увереннее г. Шейдеман отказывался от военного бюджета ради мирной трубы, тем более г. Эрцбергер считал необходимым дать что-нибудь и тем рабочим массам, которые еще принадлежат к партии центра. Можно почти растрогаться, когда слушаешь причитания правительственных социалистов, в роде тех, что ведь г. Носке давно говорил то, что г. Эрцбергер, а г. Северинг проектировал еще совсем другие подвиги, если бы г. Эрцбергер не предупредил его. Но эти добрые люди лучше не выдавали бы сами себе свидетельства о бедности, признавая, что клерикальный отщепенец — потому что г. Эрцбергер выступил не как уполномоченный своей фракцией—может достигнуть большего влияния, чем они со своим величественным поведением и великодержавной суетой.

Растущая в массах жажда мира нарушила блаженный покой буржуазных партий, и они почувствовали настоятельную потребность подействовать успокаивающе на своих избирателей. Поэтому достаточно понятно, что они рядом и даже над неясной и двусмысленной копией программы мира российской революции поставили требование того, что им угодно называть «парламентаризацией». Этим создавалось впечатление, будто они хотят реформировать отсталую конституцию Германской империи, изменить те политические условия, которые внутри так же давят, как они извне умаляют престиж немецкого государства. Если они не просто требовали парламентского строя, т. е., как это всем известно и общепринято, перехода решающей власти из рук короны в руки парламента, то они руководились здесь различными побуждениями. Неопределенное расплывчатое понятие «парламентаризации» можно было связать с всевозможными фантазиями о начале распада тысячелетнего царства, тогда как парламентарная система, согласно всему историческому опыту, не оставляет больше простора для таких фантазий. Были даже люди, и разумные люди—как Лотар Бухер, например, которые, после основательного изучения парламентарной системы в Англии, на ее классической родине, возвратились в лоно старо-прусской милитарной системы. Но когда рассматриваешь парламентарную систему

в ее суровой и трезвой действительности, то нельзя обойти того факта, что там, где она в самом деле пустила глубокие корни, как в Англии и во Франции, она могла быть осуществлена только после продолжавшейся годами, десятилетиями и даже столетиями классовой борьбы, которая не раз разгоралась в революцию, и именно этот факт хотели затушевать расплывчатым понятием «парламентаризации».

Ведь при ней все должно совершаться весьма мирно и легко. Когда какой-то нескромный, но довольно осведомленный по части истории журналист приписал г. Пайеру выражение, что теперь или никогда представляется возможность «добиться» для рейхстага большей власти,—этот главный защитник «парламентаризации» с благородным негодованием заявил, что такого изменнического мнения он никогда не был, а потому и не мог его выражать. И можно ему поверить на слово. Монарх ради прекрасных глаз либералов, ультрамонтанов (католическая партия центра) и правительственных социалистов пожертвовал бы своим исключительным правом, не считаясь с желанием рейхстага, решать вопросы войны и мира и назначать министров, но зато нашел бы славу, которой еще не пользовался ни один монарх в мире!..

При том в то же время, разумеется, вкрадывается и маленькая историческая ошибка. Нет правила без исключения, и если парламентарная система всегда вводилась только после тяжелой и длительной борьбы, то, конечно, уже была раз сделана попытка «парламентаризации». Это случилось тогда, когда Наполеон малый в начале 1870 года, почувствовав, что трон колеблется под ним, отказлся от своих самодержавных привилегий в пользу законодательного собрания, причем Оливье и братия были его усердными и на все готовыми пособниками. Возможность повторить эту попытку постольку дана, поскольку срединный блок кишит такими Оливье, но, если германскому императору не совсем нравится бонапартистский пример, то за это не приходится особенно упрекать его.

* * *

Если сущность парламентарной системы состоит в том, что решающая власть от короны переходит к парламенту, то ее исторической предпосылкой является то, что буржуазия, она одна, если даже в союзе с другими, зависящими от нее классами, располагает всеми средствами государ-

ственной власти. Все парламентарные формы, которые лишены этой фактической предпосылки, приводят к призрачному конституционализму, который может стать для нации более опасным и роковым, чем самый оголенный абсолютизм. И никакие параграфы конституции ничего не изменят в этом, так как, по Бисмарку и Лассалю, вопросы конституции суть вопросы силы, а не права. Допустим на минуту, что монарх захочет предоставить парламенту право вместе с ним решать вопросы войны и мира. Такое положение вещей не может долго продолжаться, и уже в великую французскую революцию даже Мирабо со всей его блестящей софистикой не удалось придумать параграфа, который ясным и недвусмысленным образом предрешал бы, что должно произойти в этом случае, если король и парламент не столкуются относительно войны или мира. Практически последнее слово всегда остается за той стороной, которая располагает административными средствами и физическими силами государства. И в великую французскую революцию, когда Национальное Собрание, вопреки воле короля, постановило об'явить войну контр-революции, король, уличенный в тайных сношениях с иностранными государствами, лишился не только короны, но и головы. И параграф конституции, запрещающий монарху назначать министров по своему собственному выбору, не считаясь с желаниями парламента, был бы, даже в том случае, если бы монарх признал его, до тех пор, пока он фактически располагает силами и средствами государства, лишь летящим по ветру листом, который даже при нынешнем недостатке бумаги не мог бы претендовать на какую-нибудь ценность. В Англии, где никакое министерство ни одного дня не может просуществовать без согласия парламента, никогда не занимались подобным расточением бумаги. В английском законодательстве нигде не написано, что каждое министерство, которому парламент выразит недоверие, должно убраться; но этот всегдашний результат такого вотума—простое последствие того факта, что средства власти Британской империи находятся в руках парламента.

Поэтому, если «парламентаризаторы» ожидают от некоторых параграфов конституции, которые они вымаливают у монарха, усиления власти парламента, то они смешивают причину со следствием или, употребляя более наглядное сравнение, хотят взнуздать коня за хвост. И они достигают верха смешного, когда обосновывают свои притязания тем,

что они, ведь, всегда пляшут под дудку правительства и кладут к его стопам одну дюжину миллиардов за другой.

Поистине трудно говорить серьезно об этих вопросах. Уже более столетия это было даже в Германии, не говоря уже о западных культурных странах, избитым общим местом, что каждый народ сам должен завоевать себе свои права и никогда не ожидать их от милости правительства. Если мы не ошибаемся, как раз в этом году столетие того дня, когда поэт Уланд в своей старинной манере говорил: «Еще ни один князь не так благороден и могуч, нет еще такого избранного человека на земле, который мог бы, когда мир жаждет свободы, напоить его этой свободой». И немного времени спустя Дальман, прообраз доктринерского либерализма, предостерегал немецкое бюргерство от обманчивых иллюзий полагаться на то, что правительство когда-либо дарует ему политические права, как детям кладут подарки под рождественскую елку. Но гораздо постыднее того, как Пахнике и Пайер забывают своих предков, поведение правительственных социалистов, которые отрекаются от азбуки германской социал-демократии и забывают принципы тех прокламаций и летучек, которыми Лассаль положил начало борьбы немецкого рабочего класса и в которых он в образцовой форме исчерпывающе осветил все вопросы конституции.

Да и в других отношениях с правительственными социалистами дело давно обстоит гораздо хуже, чем с либералами. Когда простодушный буржуа в 1848 году, в противовес эгоистическим юнкерам, превозносил себя как идеального монархиста, то можно было посмеяться над такой невинной наивностью; когда полстолетия спустя, в период бурных конфликтов в Пруссии, либеральные депутаты разыгрывали из себя то же самое,—тогдашние социал-демократы зло высмеивали их; однако, ныне правительственные социалисты кутают свои львиные члены в тот же поношенный костюм; и «Гамбургское Эхо» (орган социал-соглашателей) уверяет, что на плечах свободных людей—господ Фроме, Штольтена, Шейдемана, Штампфера, Давида и Зюдекума—монархия покоится гораздо прочнее, чем на согнутой спине юнкеров, которые, ведь,—подумайте какие преступники!—только преследуют свои классовые интересы. Если такими тирадами хотят подействовать на того, против кого они направлены, то можно их авторам присудить то смягчающее обстоятель-

ство, что они, по крайней мере, отмечают свою оппозицию оскорблением монарха, хотя, к счастью, недосягаемым для уголовного кодекса способом...

Мы, бедные ничтожества, не можем меряться с ними монархистской восторженностью. Мы стоим на точке зрения резолюции, которую фракция независимых социал-демократов внесла в пленум рейхстага, и товарищ Гаазе превосходно обосновал, и мы целиком разделяем ее положения, включая «радикальную и опасную» заключительную часть о «социальной республике», навлекшую на себя серьезное негодование «парламентарного» демократа Конрада Гаусмана. Но именно потому, что наш взор не помрачен лойяльной мечтательностью, он видит вещи в их трезвой действительности. Мы знаем из истории монархии, что она еще никогда добровольно не жертвовала своими правами, и, изучая ее сущность, мы понимаем, что она того, чего никогда не делала, и не может делать. Даже монарх разделяет общий людской жребий—считать себя правым потому, что он владеет правом, и психологически понятно. когда он отказывает даже в бумажных обещаниях, которые нисколько его не связывают, но зато «парламентаризаторов» уже делают сверх-счастливыми. Если только их авторитет—Бисмарк и наш авторитет Лассаль правы в том, что вопросы конституции—вопросы силы, а не права, то рано или поздно наступил бы момент, когда монарх принужден был бы разорвать свои бумажные уступки, что тогда повлекло бы за собою некоторые неудобства...

Но, как бы там ни было, здесь нам важно только разобрать перед немецкими рабочими «парламентаризацию». как иллюзию, которая должна ввести их в заблуждение относительно их действительных интересов, разоблачить эти ложные построения, как выкидыш, одинаково безобразный по форме и содержанию, душой и телом, а потому заслуживающий приговора поэта: «вы должны потопить его или сжечь».

К ЧЕТВЕРТОМУ ГОДУ ВОЙНЫ.

(1-го августа 1917 года).

Старшие современники еще помнят те времена, когда Трейтчке и компания затянули свои гимны о поэзии, стальной бане и, Бог знает, еще о каких прелестях

войны, когда сам старый Мольтке думал, что вечный мир не только не мечта, но даже не прекрасная мечта.

Ныне, когда гигантская борьба народов переходит в четвертый год, тогдашние гимны звучали бы, как нечестивые богохульства. Но сколько бы бесчисленные миллионы ни проклинали войны,—она продолжает убивать людей, разрушает производительные силы, расхищает средства питания, уничтожает блага культуры в таких небывалых размерах, которых не описывали самые безумные галлюцинации, самые бредовые картины конца мира. И после того, как этот бич три года терзал цивилизованный мир, все еще не видно конца. И в течение этого последнего года войны полностью подтвердилось высказанное мною год назад, когда наступил третий год войны, в «Лейпцигской Народной Газ.», что ни одно правительство воюющих наций не может быть заподозрено в том, что оно не желает мира, если только оно может его достигнуть. Даже самые близорукие государственные деятели все же не столь близоруки. Но, как человек не может освободиться от своей телесной оболочки, так они не могут отказаться от самой сущности своей природы без того, чтобы не перестать быть самим собой. Все они— жертвы политических факторов нашего времени, все они торчат в одежде из крапивы, из которой они не могут выскочить, как бы она ни жгла их тело

Правительства центральных держав похваляются тем, что они ревностнее других говорят о мире. Противники усматривают в этом признак слабости или исключительной хитрости. Одна сторона не доверяет другой. И с своей точки зрения каждая имеет свои достаточные основания на это. Германские государственные деятели, несомненно, весьма достойные люди, и эту похвалу можно даже распространить на всех государственных деятелей Европы, но не они управляют условиями положения, а условия, рабами которых они являются, управляют ими. И поэтому вечный припев их мирных заявлений таков: «Да, мы хотели бы, но кто гарантирует добрую волю противной стороны?»

Только что германский канцлер Михаэлис дал классический пример такого рода рассуждений. Он собрал у себя представителей печати и произнес перед ними речь, над которой господин Шейдеман теперь бьется—не с той же самой остротой ума, но с таким же рвением, с каким старый

Моммзен имел обыкновение разгадывать обломки старо-римских надписей,—чтобы доказать, что господин Михаэлис есть носитель пальмовой ветви мира. Но что было действительной сутью речи? Разоблачение, что в планы французского правительства входит завоевание левого берега Рейна, и отсюда новый имперский канцлер сделал вывод, что до тех пор, пока противники не откажутся от своих завоевательных планов, мы этого тоже не можем сделать. С точки зрения проводимой им политики, совершенно правильное заключение, а в сущности—езда на карусели, которая всегда ведет вокруг и никогда не приводит к цели.

Ведь французы могут насчитать несколько десятков таких же нечестивых и еще более бессмысленных завоевательных планов, которые в течение трех лет распространялись в Германии некоторыми кругами, не встречая препятствий со стороны правительства, которое, по достоверному свидетельству господина Шейдемана, чинит все новые препятствия платонической оппозиции «Форвертса» против завоевательных планов. Но нам могут сказать: а резолюция рейхстага о мире? Допустим, что она составлена так ясно и недвусмысленно, как она фактически не составлена, и обойдем далее молчанием то обстоятельство, что телеграфное агентство Вольфа, которое в правдивости так «превосходит» телеграфное агентство Рейтера, ту каплю внимания, которое резолюция встретила за-границей, старательно затушевало, то, в общем, конечно, ее приветствовали во враждебных странах словами Бисмарка: «что можешь ты, бедняга, дать?» И это безусловно не вина правительства, а самого рейхстага, который в течение трех лет совершенно исключил себя из числа действующих факторов современной истории.

Можно ли считать преступлением со стороны других стран то, что они не особенно считаются с этим рейхстагом, который в то же самое время, когда он тужился властно остановить мировую бойню, смиренно просил разрешения тоже иметь право голоса в своем собственном доме, и когда ему резче, чем когда-либо, было в том отказано, спокойно поплелся во-свояси? «Ни одной минуты нельзя более медлить с демократизацией; довольно двусмысленностей!»—гремел господин Шейдеман, а потом пошел домой, напялил фрак и на министерском приеме удостоился разговора с высокой особой, правда, не на политические темы... Потом господин Шейдеман гордо заявил своим приближенным: «Я не зулус».

Это мы охотно поверим ему: зулусы более требовательные люди.

Речи о мире правительств—или более обще, но точнее, влиятельных кругов—и их свиты из правительственных социалистов вращаются в порочном круге. Спасительный выход из него указала русская революция, самое великое, всемирно-историческое событие третьего года войны. Она немедленно произнесла освобождающее и спасительное слово, провозгласив свою формулу: мир без аннексий и контрибуций и на основе самоопределения народов. И к ней, к великой освобдительнице, обращаются взоры всех тех, кто все еще не может примириться с чудовищной мыслью, что среди ужасов войны навсегда будет уничтожена тысячелетняя человеческая культура. Пока она только наполовину победила, ибо вместе с царизмом еще не свергнут окончательно русский империализм, с которым русская революция как раз теперь ведет последнюю решительную смертельную борьбу. Она не могла избежать этой борьбы, и кто немного знаком с историей революций, тот не увлечется медовым месяцем этой революции, понимая, что ей предстоят еще многие испытания. Но если он не увлечется опрометчивым оптимизмом, то, с другой стороны, он столь же мало отдастся во власть слишком поспешного пессимизма; в конечном счете победит революция.

Россия многим обязана германскому рабочему классу, но ныне русские рабочие возвращают свой долг с процентами. Они помогают родам третьего Интернационала, как английские рабочие способствовали зарождению и развитию первого, и немецкие рабочие—второго Интернационала.

Они не нуждаются у себя дома в нашей поддержке, но мы сильнее всего поддержим их тем, что в нашей собственной стране неутомимо будем работать над распространением наших принципов и идей. Дни правительственного социализма сочтены, и чем больше будут сгущаться его сумерки, тем сильнее будет разгораться заря всемирного мира.

ТРЕТЬЯ ЭРА.

(6-го сентября 1917 года).

Политика нового имперского канцлера, назначившего на министерские посты определенных реакционеров, разби-

ла последние иллюзии «парламентаризаторов». Даже господин Теодор Вольф в «Берлинер Тагеблат» разочарованно падает в обморок, и только «Форвертс» наружно сохраняет самообладание. Правда, он должен признать, что ни о какой «парламентаризации» не может быть даже и речи. Но он усматривает в «просвещенном бюрократизме» новых правителей только «переходный период», который он готов признать «сносным», в том случае, если он расчистит путь для демократии и всеобщего мира. До таких высот мечтательной фантазий не поднимались даже буржуазные «парламентаризаторы», даже те из них, которые только с сотой долей того пафоса, который применил господин Шейдеман, требовали от правительства немедленного признания демократии и немедленного заключения всеобщего мира.

Пусть так! Но откуда знает «Форвертс», что «бюрократизм», находящийся теперь у кормила власти, относится к «просвещенному» виду своего рода. Поскольку политически известны имена новых правителей, они ничего подобного не обнаруживают, и о большинстве из них политический мир вообще никакого представления не имееет. Всетаки, пусть так! Интимные отношения «Форвертса» с «влиятельными кругами» позволяют ему больше знать, нежели это полагается обыкновенным подданным, а потому лучше поспешим почтительно приветствовать третью эру просвещенного бюрократизма.

Первая эра была на пороге девятнадцатого века. Тогда верховодила в Прусском государстве «просвещенная» бюрократия—все эти Бейме, Альтенстейн, друг Гегеля, Менхен, дед Бисмарка, и т. п. Между ними имелись даже республиканцы, как, например, старший председатель судебной палаты в Кенигсберге; его звали Моргенбессер, и он издал дополнения к распубликованному кодексу, в которых он еще превзошел законодательство Парижского Конвента в том отношении, что хотел отменить право наследования и разрешить брак отца с дочерью, но в остальном, разумеется, вполне проявил свою истинно-прусскую «государственную мудрость», и свободу печати, например, допускал только постольку, поскольку она не пытается возбуждать страсти.

Так как эти «просвещенные бюрократы» ненавиделись дворянством, то отчасти понятно, почему Штейн, который, хотя не был ост-эльбским юнкером, но все-таки немецким имперским графом, был о них не особенно хорошего мнения. Он

считал их лишенными всяких интересов канцелярскими крысами, которые, какая бы ни была погода, получают от казны свое жалованье и пишут, пишут, пишут... Сам же он говорил в письме к Гарденбергу: «Я считаю, что необходимо разбить оковы, которыми бюрократия задерживает полет человеческого ума. Надо разрушить материализм, господствующий у нас, надо бороться с духом алчности и грязного барыша». А в письме к своему брату Штейн об'ясняет неспособность «просвещенных бюрократов» провести какие либо реформы тем, что они только первые приказчики, исполняющие текущие дела торгового дома. «Они не понимают действительной связи вещей и запутались в безнадежном хаосе большею частью детских частностей, подробностей и мелочей».

К счастью, «просвещенному абсолютизму» скоро представился случай делом опровергнуть неблагоприятное мнение Штейна. В конце 1808 года, в результате известных юнкерских интриг, этот министр ушел в отставку, и в образе министерства Альтенштейн-Бейме «просвещенная бюрократия» стала у кормила правления. Положение прусского государства было тогда таково, что оно предоставляло каждой творческой, гсударственной силе самый широкий простор. Но, к несчастью, «просвещенная бюрократия» не сумела использовать блестящего случая. Министерство Альтенштейн-Бейме ни на иоту не продолжило начатые Штейном реформы и, после полуторагодового хозяйничанья, довело государство до такого расстроенного состояния, что в своей растерянности не видело другого спасения, как предложить королю, ради продления агонии и рассрочки часа смерти, уступить Силезию иноземному завоевателю.

Долговечнее была вторая эра «просвещенной бюрократии»; она началась с основания таможенного союза и продолжалась до Бисмарка, о котором еще в 1866 году тайные советники этой бюрократии говорили, что он, правда, остроумный и бодрый господин, но не имеет ни малейшего представления об исторических задачах. С своей точки зрения они были отчасти правы. Таможенный союз, правда, не был их заслугой, а результатом экономической необходимости, под давлением которой эти бюрократы достаточно «просветились» для того, чтобы видеть дальше чернобелых пограничных столбов. Ведь Бисмарк сам позже признался им, что их более или менее удачные попытки вымести феодально-

цеховый муссор совершались при его тайном нерасположении к этим реформам, и что он почти никакого участия в их проведении не принимал. Но о задачах своей эпохи они, разумеется, тоже не имели ни малейшего представления, и они так же мало понимали освободительное движение рабочего класса, как Альтенштейн и Бейме необходимость окончательного раскрепощения крестьянства. Господин Дельбрюк раз'яснял секрет обеспечения высокого процента и утверждал, что никакое законодательство не помешает глупцам давать себя на с'едение ростовщическому капиталу, а господин Кампгаузен рекомендовал, как всеисцеляющее средство от капиталистических кризисов, понижение заработной платы. В политическом отношении они не обладали ни силой, ни мужеством. Когда же они стали неугодны «остроумному и бодрому господину»,—он просто-на-просто велел им убраться.

После этих воспоминаний из отечественной истории, которые пламенным патриотам «Форвертса» должны были бы быть памятны, кажется совершенно непостижимым, как какое-нибудь министерство «просвещенной бюрократии» может представлять для рабочего класса «сносный переходный порядок». Правда, материалистическое понимание истории— для них незнакомая область, но от Штейна до Теодора Вольфа уже давным давно стало общим местом буржуазного мира, что бюрократическое министерство и особенно прусское бюрократическое министерство не может проводить самостоятельной политики и менее всего политику, которая должна расчистить путь демократизму и всеобщему миру. «Первые приказчики» фирмы, в лучшем случае, могут аккуратно и более или менее благополучно справляться с текущими делами, но они не призваны и неспособны вступить на новые пути.

Возможно, что в садике «Форвертса» лелеется самое последнее растеньице надежды, на что буржуазные «парламентаризаторы» давно уже больше не тратят сил. В кругах социал-соглашателей в последнее время усиленно поговаривают о том, что одному из самых «озаренных» умов высокая особа сказала, что она ничего не имеет против парламентаризации и готова примириться с нею. И ничего странного не будет в том, если правительственные социалисты, после своего удачного подражания той славной политике, которой придерживались либералы шестидесятых годов, подхватят

также мысль доброго Шульце-Делича о том, что «многократно благословенная Богом династия» может произвести на свет такого потомка, который поймет «знамение времени».

СВИРЕЛЬ ПРИМИРЕНИЯ.

(16-го августа 1917 года).

Как сообщал недавно «Форвертс», в связи с предполагаемым правительственными социалистами созывом осенью этого года партийного с'езда в Вюрцбурге, от «многочисленных организаций» поступило предложение добиваться восстановления партийного единства. «Форвертс» далее сообщает, что Адольф Браун в Нюренберге, «должно быть», инициатор этих «предложений», которые, впрочем, всеми органами независимой социал-демократии «с обычной наглостью» отклонены. И причину этой «наглости» «Форвертс» усматривает в том, что независимые своей коварной спекуляцией на разложении немецкого рабочего движения мешают демократизации Германии и, голосуя рука об руку с графом Вестарпом против «мирной» резолюции рейхстага, содействуют самым от'явленным насильникам.

«Наглость», быть может, гораздо проще об'ясняется личностью «инициатора», которого «Форвертс» называет «умной» головой,—потому что Адольф Браун заклал свою «старую подругу» Клару Цеткин на алтаре правительственного социализма, при чем его сердце, разумеется, при этом так же обливалось кровью, как и тогда, когда он оплакивал «разложение» партии. Проповедники этого калибра, как бы они ни распинались за единение и примирение, не могут внушить к себе слишком большого доверия. Но оставим это! Мы охотно соглашаемся с тем, что восстановление партийного единства весьма желательно, так как рабочий класс, для того, чтобы победить, по излюбленному выражению, должен представлять собою сомкнутую и сплоченную фалангу. Но сплоченность фаланги состоит в том, что она вся борется с одинаковым оружием и идет в ногу. Если бы часть афинской фаланги была вооружена шлемами и копьями, а другая—ночными колпаками и метелочками, то одна поло-

вина быстрой атакой двинулась бы вперед, а другая—черепашьим шагом ковыляла бы вслед, и тогда персы имели бы легкую задачу.

Такую же легкую задачу имел Бисмарк, когда в эпоху прусских конфликтов против него выступила «сомкнутая» фаланга либеральной партии, имея на своем правом крыле прямолинейного монархиста Шверина и на левом—старого коммуниста Беккера. Один принцип за другим приносился в жертву—дабы только сохранить фалангу «сплоченной», но когда от болтовни надо было перейти к делу,—вся эта большая толпа разбежалась, как стадо овец. Передовые бойцы германской социал-демократии никогда не вступали на этот обманчивый путь. Бесчисленные полемики, которые до и после революции 1848 года велись демократами против Маркса и Энгельса, все сводились к нынешним причитаниям «Форвертса»: из побуждений мелочного фракционного эгоизма Маркс и Энгельс изменяют-де общему делу демократии. Позже Маркс возражал против об'единения эйзенахцев и лассальянцев, пока они не придерживаются одинаковых принципов. И даже во время закона против социалистов Энгельс заявил, что иногда исключение мелко-буржуазной социалистической фракции весьма желательно в интересах всего движения. А когда Бебель расколол центральный совет рабочих союзов, председателем которого он сверх того был,—он писал Ф. А. Ланге: «Лучше десять стойких союзов, нежели тридцать колеблющихся».

Но зачем нагромождать эти примеры? Само собою понятно, что борющееся войско должно иметь общую стратегию и тактику. И если теперь хотят восстановить партийное единство, то является вопрос, какая из обеих частей должна отказаться от своих методов борьбы. И если независимые не хотят отказаться от своей боевой тактики, то это не «наглость», а вполне справедливая боязнь морального и политического самоубийства. Можно упрекать их в чем угодно, но упрека в недостатке долготерпения и снисходительности они по-истине не заслужили. Можно даже, наоборот, спорить о том, не проявляли-ли они эти добродетели в большей мере, нежели это было необходимо. Но нужно обладать исключительным бесстыдством для того, чтобы сметь теперь предлагать им прекратить свое существование, как самостоятельной рабочей партии, и об'единиться с партией, будущее которой исключительно зависит от милости правительства.

Все это ныне ясно даже самому близорукому политику. Шейдемановцы порют такую дичь о «демократизации» и «парламентаризации» германской империи, что эта пустопорожняя болтовня уже начинает забавлять даже либеральные газеты. Как хотят они осуществить все это великолепие политики 4-го августа?—Угрозами и предсказаниями, пустыми тирадами, которые в свое время до тошноты прожужжали либералы, добившись только того, что Бисмарк презрительно сказал: «Ну и чудаки!». Первый опыт «парламентаризации» вышел таким, что даже «Берлинер Тагеблат» изумился. Но «Форвертс» находит это переходное состояние вполне сносным, и последний остаток его гневного настроения обнаруживается только в уверении, что для социал-демократии несомненно то, что новое правительство--последнее германское бюрократическое правительство. «Рассказывайте там,—отвечает на это газета «Вельт ам Монтаг», последнее или предпоследнее, но господин Шейдеман наверно не откажется отсрочить платеж по векселю: ведь правительство за три первых года войны отлично поняло, что некоторые люди считают холостые заряды пригодными снарядами в парламентарно-политической борьбе». Правительственные социалисты дошли до того, что либеральные газеты бросают им в лицо такие насмешки, и по заслугам!

Такого, — скажем вежливо, — самопожертвования, как правительственных социалистов, история еще не видала, даже в 1866 году. Когда тогдашние национал-либералы перешли на сторону правительства, то они сделали это по крайней мере постепенно и извлекали весьма значительные выгоды для своего класса, для буржуазии. Шейдемановцы только тогда стояли бы с ними на равном уровне, если бы они для «пересмотра программы», примерно, обеспечили себе восьмичасовой рабочий день и полную неприкосновенность свободы коалиции пролетариата. Но их вечные нудные и лицемерные жалобы на то, что Гаазе, будто, идет рука об руку с Вестарпом, и что независимые ставят свои мелочные фракционные интересы выше национальных интересов,— списаны у национал-либералов 1866 года. Так шумели тогда национал-либералы по поводу того, что Иоганн Иакоби и Либкнехт, будто, об'единяются с Клейст-Рецовым или Виндтгорстом, и что демократия, ради мелочно-фракционного эгоизма, отрекается от национальных интересов, с той только разницей, что нынешние правительственные социалисты не-

выгодно отличаются от тогдашних национал-либералов в том отношении, что Бамбергер и братия не тараторили так нелепо этого вздора, как ныне Штампфер и компания. Они всетаки могли нечто дать буржуазии, тогда как правительственные социалисты ничего не могут дать пролетариату.

Лассаль как-то сказал, что каждый процесс ведется за голову судьи. Так теперь тяжба между зависимыми и независимыми социалистами есть спор из за головы немецкого рабочего класса. Пока бесчисленное множество его самых сознательных и деятельных членов лежит в траншеях и пока продолжается осадное положение, предоставляющее зависимым полную свободу слова и печати, тогда, как оно же независимых социалистов лишает этого законного оружия политической борьбы, до тех пор пускай шейдемановцы наслаждаются обманчивым блеском «партии большинства»; но как только борьба снова станет вестись при равных для обеих сторон условиях, положение изменится. Тогда германская социал-демократия снова станет той сомкнутой и сплоченной фалангой, какой она в прежние времена была.

Покуда же на все завлекающие звуки свирели примирения может быть только один ответ: с партией, которая в настоящем только живет милостью осадного положения, а в будущем—только зависит от милости правительства, т. е. с трупом не об'единяются.

ПАПСТВО И ВСЕМИРНАЯ ВОЙНА.

(21-го августа 1917 года).

Когда избирается новый папа,—он имеет обыкновение называть себя именем того из своих предшественников, духовному влиянию которого он особенно обязан, либо считает себя родственной ему натурой. Назвав себя Бенедиктом XV-м, папа руководился лишь историческим воспоминанием внутренней духовной близости, так как это имя уже в течение полутора столетия не встречается в ряде пап; Бенедикт XIV-ый носил папскую тиару от 1740 по 1758 год.

Он принадлежал, если не к самым могущественным, то зато к самимы терпимым, кротким и мудрым церковным владыкам, которые когда-либо сидели на престоле Св. Петра. Просветители восемнадцатого века на-половину причисляли его к своим. Прусский король Фридрих и Вольтер, в пере-

писке которых «Ecraser l'infame —уничтожьте подлую (т. е. церковь) составляет постоянный припев, вполне искренно хвалили этого папу. Фридрих воспевал его: «Князь церкви и великий человек, высокий ум, прекрасный, сильный и свободный дух, всей душой преданный античным образцам, честный поп и справедливый властелин; заслуженно пожинает он фимиам от всех — у источников муз и под сводами храма». А Вольтер посвятил этому папе трагедию «Магомет». Бенедикт XIV-ый не оставался в долгу. В письмах и разговорах наделял он прусского автократа королевским титулом, хотя римский государственный календарь знал только «маркграфа прусского». Он, шутя говорил, что в Вене его считают хорошим пруссаком, а Вольтера он в остроумном письме поблагодарил за посвящение ему трагедии, которая под мусульманской маской бичевала фанатизм христианского духовенства.

Наш Готгольд Эфраим Лессинг тоже принадлежал к числу почитателей этого папы. Когда один профессор физики Виттенбергского университета послал некоторые свои сочинения Бенедикту XIV-му, как покровителю наук, он подвергся яростным нападкам и даже брани со стороны лютеранских пасторов. Лессинг заметил по этому поводу: «Профессор Бозе преследуется за то, что он не побоялся в нескольких шагах от могилы Лютера сказать, что нынешний папа ученый и разумный человек». И он бичует эту нелепую травлю в эпиграме:

«Он похвалил папу. А мы, во славу Лютера, не должны его ругать? Подумайте, папу хвалить! Если бы он похвалил дьявола, то это было бы менее преступно».

Слова эти можно было бы ныне посвятить «Крестовой Газете», «Имперскому Вестнику», «Немецкому Ежедневнику» и всем другим газетам, которые скорее будут хвалить дьявола мировой войны, нежели признают, что теперешний папа, посреди бесчисленных могил, говорил, как разумный человек.

В самом деле, нужно признать, что Бенедикт XV выполнил обязательство, взятое им на себя при выборе папского имени. В эту мировую войну он показал себя терпимым, кротким и мудрым властителем церкви, особенно в своем призыве к миру, который он только что разослал всем «пра-

тель самой старой консервативной и законной власти христианского мира говорит в этом воззвании языком, который, несомненно, окажет свое благотворное влияние на мыслящих и чувствующих людей, как бы далеки они ни были от всех церковных вопросов. Особенно благоприятное впечатление производит то, что папа, в противоположность многим светским монархам и государственным мужам, совершенно не вмешивает милого Бога в кровавую и ужасную мировую бойню. Сущность этой войны он характеризует такими словами: «Неужели весь цивилизованный мир должен превратиться в поле смерти? Неужели гордая и цветущая Европа, охваченная всеобщим безумием, хочет броситься в пропасть и способствовать своему самоуничтожению?» Насколько выше это понимание папы толкования того светского государственного мужа, который именно об этой войне сказал, что все те, кому «доступны были откровения божии во всемирной истории», теперь ясно видят, что «все совершающееся в мире отвечает божественному плану». Этот светский государственный муж называется, между прочим, Михаэлисом, и с некоторого времени он германский имперский канцлер.

В настоящее время еще нельзя предсказать, будет ли мирное воззвание папы, с которым он обратился ко «всем правителям воюющих народов», иметь какие-либо практические последствия. Если говорят, что папа не предпринял бы такого шага, не будучи заранее уверен, что его воззвание будет сочувственно встречено всеми заинтересованными сторонами, то, бесспорно, многое говорит в пользу такого предположения, но безусловно логичным нам все же не представляется такой вывод. Не следует забывать, что папа, каким бы умным и доброжелательным человеком он ни был, все таки может проводить только папскую политику, что он столь же мало, как и любой другой человек, свободный господин своей воли. При всех нежных комплиментах, которыми обменивались Бенедикт XIV и король Фридрих, папа после завоевания пруссаками Силезии, непреклонно отстаивал все церковные права в этой области, где, как известно, было насильственно вновь введено католичество; и когда в семилетнюю войну силою оружия решился этот спор между католической Австрией и протестантской Пруссией, приближенные папы старались, как можно дольше, скрывать от папы каждую прусскую победу, так как ...

кого рода тяжело отражалось на здоровьи старого господина.

Бенедикт XV также может проводить только папскую политику. После всех опустошительных войн, которые надолго ввергают народы в нужду и нищету, для церкви наступают хорошие времена. Чем безнадежнее все по сю сторону, среди земной юдоли, тем сильнее пробуждается вера в потусторонний мир, в воздаяние на том свете. Так было после тридцатилетней войны и после наполеоновских войн, а как незначительны были опустошительные результаты этих войн по сравнению с чудовищным разрушением и разорением, уже причиненным нынешней мировой войной! На таких развалинах всегда расцветает церковная пропаганда. Это вошло даже в поговорку в тех протестантских местностях Германии, которые особенно поплатились за тридцатилетнюю войну и наполеоновские войны. Ученые говорят, что в эпоху бедствия с элементарной силой выступает наружу «метафизическая потребность» народа. А сами массы безграничное и для них непонятное несчастье выразили в словах: «Так чертовски плохо, что можно стать католиком!»

Итак, если папа уже во время войны возвышает свой напоминающий и предостерегающий голос против войны, то он, несомненно, занимается самой умной политикой, какая только может вестись с точки зрения интересов папства; но для политики никогда не может быть решающим то, имеет ли она минутный успех или нет. Можно было бы даже сказать, что в интересах самого Ватикана, чтобы воюющие державы пока не вняли его голосу. Однако, все, что мы знаем о нынешнем папе, дает основание предполагать, что он вполне искренен в своем воззвании, точно так же, как мы искренни, когда желаем ему самого полного и скорого успеха.

Правда, буржуазная печать толкует на своем близоруком торгашеском жаргоне о каком-то «соперничестве в вопросе всеобщего мира между красным и черным Интернационалом». Но эти добрые люди даже не слышат звона колоколов, не говоря уже о том, что не знают, где они висят. Социалистическая политика отличается от политики Ватикана тем, что она ожидает от ужасной катастрофы, разразившейся над культурным человечеством, не *молитвы*, а *мышления* масс, и намерена всеми силами способствовать этому прогрессу мышления. И в этой уверенности ей

ЦАРСТВО РЕДКОСТЕЙ.

(1-го сентября 1917 года)

Заседания пленума рейхстага опять закончились. На вопрос, что дала последняя сессия рейхстага германскому народу, «Прусские Летописи», как известно, консервативный, но иногда довольно толковый журнал, отвечают следующими словами: «усталое сознание, что все остается по старому».

Однако, нам кажется, что «Прусские Летописи» высказали это суждение как раз в один из самых неудачных моментов своего размышления. Они слишком требовательны, а немецкие патриоты должны уметь в эти тяжелые времена подавлять в себе слишком большие желания. Ведь «Прусские Летописи» сами признают, что во время последней сессии пленума совершилось событие, равного которому не знает парламентская история всех народов и времен. Затем сессия счастливо родила знаменитую парламентскую систему, в форме поставленной верхушкой вниз пирамиды, и, наконец, в дебатах о цензуре и об осадном положении они ловко ухитрились так помыть шкуру медведя, что к ее жестким волосам не пристало ни капельки воды. Ведь это довольно почтенные дела, и если Соединенные Штаты назвали страной неограниченных возможностей, то германская история может славиться, как царство редкостей.

Событие, о котором историки «Прусских Летописей» утверждали, что во всей парламентской истории еще не бывало равного ему, состояло в том, что германский канцлер почти одним духом заверил, что он не согласен с резолюцией о мире рейхстага—и в то же время, что он с нею все-таки согласен. Эта резолюция не отличается особенной ясностью и местами довольно двусмысленна, но все же в ней говорится, что «Германия отказывается от насильственного расширения своей территории и политического, экономического или финансового подавления других народов». Кроме того, господин Асквит 17 июля в английском парламенте торжественно и определенно предложил германскому имперскому канцлеру недвусмысленно высказаться о том, намерена ли Германия не только очистить Бельгию и возместить ей убытки, но и восстановить ее полную и абсолютную независимость. Весь мир знает, что недвусмысленный утвердительный ответ на этот вопрос устранил бы самое суще-

Но господин Михаэлис на запрос господина Асквита ничего не ответил, что, быть может, об'ясняется тем, что патриотическому немцу полагается относиться к вероломному англичанину с молчаливым презрением. Но то, что имперский канцлер обращался с резолюцией рейхстага о мире так, как это не свидетельствовало об особенном уважении к ней,—это, собственно, должно было бы задеть пленум. И в самом деле, когда господин Михаэлис не пожелал понять резолюции,—господин Эберт от имени партий большинства прочитал торжественное заявление, в котором говорилось, что имперский канцлер в закрытом заседании—о котором обыкновенные смертные, кстати сказать, только тогда узнали—еще до внесения резолюции о мире в рейхстага, выразил свое согласие с ней. Если он после этого снова переменил фронт и заявил, что все-таки соглашается с резолюцией, то от народных представителей со стойкими убеждениями можно было ожидать, что они разорвут отношения с таким имперским канцлером. Но не тут-то было! Наоборот, господин Эберт взял обратно свое заявление, и опять наступили мир и согласие между пленумом и имперским канцлером.

Господин Михаэлис был очень благодарен за эту покорность, и он сделал громадный шаг вперед в направлении к «парламентаризации», разумеется, «парламентаризации» в немецком понимании. В других странах под парламентарной системой понимают перенесение политического центра тяжести на парламент, работающий вполне публично под строгим контролем избирателей. В Германии же «парламентаризация» началась с того, что слабая тень рейхстага сменилась еще более слабой тенью комиссии. За последние недели в газетных отчетах о заседаниях пленума мы то и дело читали непроверенные и искаженные сообщения о том, что, предположительно, говорил «либеральный», «национально-либеральный» и т. д. оратор за закрытыми дверьми. Казалось, что мы возвратились к тридцатым годам прошлого столетия, когда газеты эзоповым языком и в искаженной форме передавали речи в провинциальных ландтагах «оратора из рыцарского сословия», «оратора из крестьянского сословия» и т. д. Такое положение даже предмартовским филистерам показалось, наконец, слишком глупым, и когда в 1840 году вступил на престол Фридрих Вильгельм IV, они потребовали, чтобы заседания провинциальных ландтагов

были открытыми и чтобы в газетах помещались правдивые отчеты, с указанием имен ораторов. Новый повелитель удовлетворил эту просьбу, конечно, на прусский манер. Он перенес тот минимум прав, которым еще обладали провинциальные ландтаги, на их комиссии, которые за тщательно закрытыми дверями могли плутовать и шептаться с бюрократией. Предмартовские же филистеры не верили своим глазам и ушам...

По сравнению с ними, наши нынешние патриоты все-таки обладают большей «государственной мудростью». Господин Михаэлис—человек во вкусе Фридриха-Вильгельма IV, по которому и земная политика совершалась по «божественному плану». Король этот в начале своего царствования с большим успехом упражнялся в искусстве лавирования и добился популярности как в правых, так и в левых кругах. В этом отношении, и в особенности по части ловкой игры с пресловутой «парламентаризацией», он и господин Михаэлис, как две капли воды, походят друг на друга. Из особой любезности к пленуму, господин Михаэлис сводит его на нет устройством чрезвычайной комиссии из семи человек, которые, обязавшись хранить ненарушимое молчание, вместе с семью членами союзного совета, правда, ничего не решат, но обсудят друг с другом оффициальные тайны политики. Можно было ожидать, что народные представители с устойчивыми взглядами и к тому же еще избранники всеобщего избирательного права откажутся последовать в эту секретку. Но нисколько! Они смело ползут туда с господами Эбертом и Шейдеманом во главе.

Не так сложен последний подарок, преподнесенный пленумом ожидающему народу: кулак, который он... на бумаге показывает цензуре и осадному положению. Один из «новых людей» в правительстве хладнокровно бросил эту бумажку в корзину, потому что он знает, что за нею ничего не последует, как бы господин Гейне ни уверял с воинственным пылом: «Рейхстаг дольше не может терпеть этого; до новой сессии вы имеете еще четыре недели срока для того, чтобы одуматься и исправиться, но потом—горе вам!» Такие, уже десятки раз декламировавшиеся, тирады никого больше не пугают, менее всего тогда, когда они раздаются со стороны правительственных социалистов. Вся мудрость этих людей исчерпывается в крылатом слове, изобретенном когда-то раввином Ароном Бернштейном для характеристики громких

слов и полнейшего бессилия либеральной партии. Он писал в «Берлинской Народной Газете»: «Парламент есть власть, но он не имеет власти». Лассаль высмеивал это нелепое положение.

Каждый раз, когда «Форвертс» вынужден упомянуть факт, из которого вытекает, что рейхстаг не обладает властью, он уверенно добавляет: подождите, завтра рейхстаг завоюет парламентарную систему. Лассаль не поверил бы своим ушам и глазам, если бы мог прочитать мудрость покойного раввина в газете, которая, к счастью, только с незаконно присвоенным правом, называется центральным органом германской социал-демократии.

КОМЕДИЯ ПРОТИВ КОМЕДИИ.

(11-го сентября 1917 года).

Господин Вильсон не наш человек. Мы отказываемся от невинного удовольствия, вместе с патриотическими газетами, напоминать ему о том, что, как ученый профессор, он совершенно иначе судил о конституции германской империи, нежели теперь, как президент Соединенных Штатов. Человек растет вместе со своими более возвышенными целями, и кто стоит у власти, тот обычно говорит иначе, нежели тот, кто только стремится к власти.

Если мы посмотрим, однако, на господина Вильсона только как носителя того сана, которым он в настоящий момент облечен, то глава государства, основанного на капиталистическом фундаменте, всякий раз играет комическую роль, когда читает правительствам других государств, которые построены на той же основе, моральные проповеди о политической демократии и подобных хороших вещах, вместо того, чтобы только обменятсья с ними улыбкой авгуров. И дело ничуть не меняется от того, что господин Вильсон не наследственный монарх, а президент демократической республики. Наоборот! Приблизительно четверть века назад, Фридрих Энгельс доказал, что именно на примере Америки лучше всего изучить развитие уничтожающего всякую демократию самодовления государственной власти по отношению к обществу, простым орудием которого она сначала была. «Известно, как американцы в продолжение тридцати лет пытаются сбросить это невыносимое ярмо и как они,

несмотря на все, все глубже застревают в этом болоте. Здесь не существуют династия, дворянство, постоянная армия, исключая отряда для охраны индейцев, нет также бюрократии с привилегиями и правом на пенсию. И все-таки здесь имеются две большие банды политических спекулянтов, которые попеременно завладевают государственною властью и самыми развратными средствами эксплоатируют ее для самых развратных целей. А нация бессильна против этих двух больших картелей политиков, будто служащих ей, но в действительнсти господствующих над нею и грабящих ее». Так говорит Фридрих Энгельс, который был бы несколько удивлен, если бы он мог слышать и видеть, как «Форвертс», называющий себя центральным органом германской социал-демократии, воспевает орудие и оратора одной из этих «больших банд», как пророка политической демократии. Однако, комедия против комедии! Щелчки, которыми наделили «Форвертс» за его гениальную политику его же единомышленники, отпущены не менее грубыми руками. Большая часть социал-соглашательских газет на пожелание Вильсона, чтобы власть в Германии перешла к демократии, заявляет с пафосом нравственного негодования: «Наши внутренние дела мы сами устраиваем; в этом отношении мы не нуждаемся в поучениях иностранцев!». Разумеется, когда что-нибудь гнило в королевстве датском, то ни один иностранец не смеет прикоснуться к нему рукой, чтобы не совершить святотатства. А отсюда только один шаг к пангерманскому толкованию: если рука иностранца прикоснулась к гнили, то она должна быть ради нее самой сохранена, ибо неудовольствие иностранца показывает, что она—истинное здоровье...

И какое глубокое знание истории! Внутренняя политика прусско-германской империи никогда не плясала под дудку заграницы? Вспомните-ка, друзья! Разве прусский король Фридрих-Вильгельм III-й не повиновался смиренно, когда в 1807 году иноземный завоеватель приказал ему того самого барона Штейна, которого король только что с великим позором прогнал, снова назначить руководящим министром, дабы он преобразовал пруские условия по французскому образцу? Разве барон Штейн—кстати сказать, самый упрямый министр, какого прусское государство когда-либо имело,—не послал прусского принца в Париж, чтобы уверить императора Наполеона, что его прусские реформы

вполне отвечают желанию императора способствовать развитию цивилизации? А австрийский канцлер Меттерних разве не был в продолжении четверти века руководящим министром прусского государства? Или царь Николай в пятидесятые годы? Но если французские, австрийские и русские пальцы в девятнадцатом столетии руководили внутренней политикой Пруссии, но нет ничего удивительного в том, если в двадцатом столетии американский палец имеет такие же поползновения.

За спором по поводу ноты Вильсона последовал спор относительно перевыборов в рейхстаг, разгоревшийся между пангерманцами и правительственными социалистами. Граф Ревентлов бросает им вызов—после основательного просвещения массы избирателей со стороны правительства, а господин Давид отвечает на вызов—в надежде, что правительственные социалисты проведут избирательную кампанию в блоке с либералами и клерикалами... Комедия противопоставляется комедии! Оба героя вспоминают выборы 1887 г., Граф Ревентлов вспоминает иллюстрацию, изображавшую французского солдата, который отбирает у немецкого крестьянина последнюю корову, а господин Давид вспоминает тогдашний официальный лозунг о мнимой «коалиции Гилленбергера-Рихтера-Виндгорста», которая на этот раз должна стать прекрасной действительностью. Втайне оба, конечно, сами боятся «пугающих выборов», и больше боится господин Давид, так как он хорошо знает, кто победил в 1887 г., хотя Бисмарк не располагал таким здоровенным агитатором, какого имеет в осадном положении граф Равентлов.

Поэтому, агенты этого пылкого пангерманца гораздо успешнее ведут агитацию, нежели шейдемановские молодцы. Господин Эрих Бранденбург, профессор истории Лейпцигского университета, в номере от 4-го сентября «Немецкого Курьера» обвиняет большинство рейхстага в государственной измене, хотя только в бессознательной. Бессознательная государственная измена, конечно, столь же невозможна, как и бессознательный карьеризм. И трезвон о «старейшей немецкой колонии», на который «Лейпцигская народная газета» указала несколько дней назад, открывает перспективу удивительных избирательных лозунгов, которые не со вчерашнего дня изготовлены...

Балтийские юнкера за свои оказанные царизму дружеские услуги получали не только дворянские привилегии, вы-

сокие оклады и ордена, но также, как это полагается, и пинки, и в эти более печальные времена своего земного существования их «немецкая культура» обращалась с мольбою о помощи к «отечеству». В последний раз случилось это в конце шестидесятых годово прошлого столетия; тогда возникла целая литература по вопросу о том, как спасти «остзейскую немецкую колонию от русского чужеземного владычества»... Назовем здесь только имена Бинемана, Бока, Гарлеса и Ширрена; главным застрельщиком был Юлий Эккардт, который, как «мученик немецкой культуры» появился на страницах либеральных «Гренцботен» в Лейпциге, но, когда Бисмарк повернулся спиной к либерализму и начал свою юнкерскую политику, включая закон против социалистов, Эккардт стал его главным оффициозом и доверенным лицом.

Об одном из этих сочинений Маркс писал 17-го февраля 1870 года Кугельману: «Брошюра, которую ты мне прислал, одна из тех защитительных речей, с какими привиллегированные сословия немецко-русско-балтийских провинций в настоящий момент аппелируют к немецким симпатиям. Эти канальи, которые издавна отличались своим служебным усердием в русской дипломатии, армии и полиции и которые с того времени, как провинция отошла к России, с удовольствием торговали своей национальностью ради узаконения их эксплоатации сельского населения, орут теперь о помощи, потому что видят угрозу своему привиллегированному положению. Старая сословность, ортодоксальный либерализм и высасывание крестьян—вот что называют они немецкой культурой, для защиты которой они призывают Европу. Отсюда и последнее слово этой брошюры: земельная собственность, как база цивилизации, и при том земельная собственность, которая по собственному признанию жалкого памфлетиста состоит из помещьичьих имений или оброчных крестьянских владений».

Маркс не называет заглавия брошюры. Но из его дальнейших указаний можно понять, что он имеет в виду сочинение господина Адольфа Вагнера «Об отмене частного землевладения», написанное им против известных постановлений Интернационала на Базельском Конгрессе. Вагнер, бывший перед тем профессором в Юрьеве, доказал «преступное безумие» тех постановлений, в особенности на примере балтийского помещичьего землевладения и русского коммунизма. В заключение он сам охарактеризовал свою брошюру, как

«предостережение нам, немцам, дабы мы снова, как настоящие доктринеры, покровительством социал-демократическим принципам не сыграли на-руку нашим злейшим врагам в Европе». Уже по этой одной фразе видно, как удачно этот адвокат «старейшей немецкой колонии» играет на руку и пангерманцам, и шейдемановцам. Он умеет их, которые обычно только ломают друг перед другом комедию, об'единить в общей комедии: проклинать социалистические принципы, как пособников внешних врагов.

О ДИПЛОМАТИИ.

(16-го сентября 1917 года).

На долю «парламентаризаторов» выпало большое счастье. «Северо-немецкая Всеобщая Газета» публикует телеграммы, которыми обменялись германский император и русский царь в 1904 и 1905 годах. Хотя содержание их «парламентаризаторам» не особенно по вкусу, но все же оно подслащено несколькими фразами, которые, как мед, тают у них во рту.

В этих фразах император советует царю доверить Государственной Думе решение вопроса, продолжать-ли войну с Японией. Царь должен был, по этому совету, дать русскому народу долгожданную возможность самому решать свою судьбу, или принимать участие в решении, на что он имеет несомненное право. Решение по своим последствиям так страшно серьезно, что никакому смертному повелителю не по силам взвалить на свои плечи ответственность, без помощи и совета народа.

Незачем говорить, что «парламентаризаторы» пришли от этой фразы в такой восторг, что, по словам «Берлинер Тагеблат», их надо большими буквами предпослать новой, к сожалению, слишком медленно расцветающей эпохе. Но консервативная печать не смущается и хладнокровно заявляет: «Не всякому приличествует это»,—что можно Юпитеру, того нельзя ослу. И она, по крайней мере, опирается на историю, когда утверждает, что совет, даваемый одной властью другой, для самой советующей власти вовсе не имеет обязательной силы.

Когда прусский король Фридрих в 1762 году, в семи-

летнюю войну, был спасен царем Петром II из крайне затруднительного положения,—он отблагодарил царя советом не обращаться со своими подданными, как с подлой черныо (en canaille). и особенно слушаться умной Екатерины. Совет был доброжелателен и очен разумен. Петр II не последовал ему, и это стоило ему короткое вермя спустя не только короны, но и головы. Екатерина велела своему любовнику Орлову отправить его на тот свет. Если бы тетка Фосс («Фоссова Газета»), сославшись на этот пример, посоветовала старому Фрицу (Фридрих Великий) не обращаться со своими подчиненными en canaille и свою хозяйку сделать своей политической Эгерией, то ей, несомненно, было бы обеспечено теплое местечко в сумасшедшем доме, если не в тюрьме.

Или возьмем другой пример. Когда разразилась французская революция 1789 года, она вызвала ликование при прусском дворе. Уже 5-го июля Герцберг, тогдашний главный министр, сообщал королю Фридриху-Вильгельму II: «Во Франции королевский авторитет поколеблен, войско отказалось повиноваться; это предвещает сцены, напоминающие роковой конец Карла 1-го». А когда через несколько недель была взята Бастилия, тот же самый Герцберг торжествующе писал тому же самому королю: «Во Франции монархия свергнута». Все это весьма правильные и разумные замечания, которые, однако, нисколько не помешали бы ни королю, ни его министру снять голову каждому, кто попытался бы и в прусском государстве способствовать таким же радостным событиям.

Более того! Когда французское Национальное Собрание отрицало за королем право решать своей единоличной верховной властью вопросы войны и мира, демократическая левая получила от прусского посланника документальный материал из берлинских архивов, которые изобиловали этим, для доказательства того, каким фривольным образом абсолютизм имеет обыкновение провоцировать войны. Но это нисколько не помешало прусскому королю пару лет спустя напасть на Францию, согласно манифеста, который по своей безграмотной фривольности занял весьма почетное место в военной истории.

Этот перечень можно было бы продолжать до бесконечности. Только вскользь напомним пример Бисмарка, который разыгрывал из себя верного вассала Бранденбургского маркграфа, но «безбожное и незаконное жульниче-

ство суверенностью» других немецких князей, которые так же могли претендовать на свое право Божьей милостью, как прусский король, так презирал, что просто напросто совал их короны себе в карман. Эта двоедушная теория издавна составляла сущность всякой дипломатии, и пытаться из ее противоречий сплести прочную не рвущуюся сеть—довольно детское занятие. Но это искони было в характере поверхностного либерализма,—хотеть помыть шкуру медведя, не замочив ее, и ныне он в правительственных социалистах нашел понятливых учеников. Недостаток логики сам по себе довольно безвредная вещь, но гораздо опаснее для дипломатии неуспех, и в этом отношении за последнее время германская дипломатия мексиканской, норвежской и недавно аргентинской авантюрами совершила такие подвиги, которые весьма пригодны лишить ее всякого права на уважение современников. Это, правда, для «парламентаризаторов» желанная находка, но им не удастся нажить на ней капиталец. Как тяжело даже для настоящего парламента, как английский, например, решать вопросы внешней политики и управлять ею,—это показал Лотар Бухер в своей книженке о парламентаризме, и он не нашел ничего другого, как предложить выбросить всю дипломатию за окошко. Менее радикальное средство предлагает господин доктор Шлибен, который до 1914 года был консулом Германской империи в Белграде. Его сочиненьице («Германская дипломатия, как она есть и какой она должна была бы быть». Цюрих, 1917) отвечает тенденциям «Форвертса» в этой области, или самого «Берлинер Тагеблат», который, ведь, имеет обыкновение всегда немного опережать «Форвертс». Господин Шлибен признает, что германской дипломатией не приходится гордиться, но с его предложениями «парламентаризировать» ее дело обстоит весьма неважно. Они, правда, подняли бы несколько престиж германской дипломатии, но зато еще более дискредитировали бы парламент. Господин Шлибен предлагает образовать комиссию рейхстага примерно из двадцати человек, которая должна постоянно наблюдать за внешней политикой рейхстага. Но, во-первых, она должна пользоваться только совещательным голосом, и во-вторых, ее заседания, если правительство этого потребует, должны быть закрытыми. Сверху у нее связаны руки, а снизу—отрезаны ноги. С правительством она может беспомощно бол-

тать, а пред своими избранниками—беспомощно молчать. Господин Шлибен хочет, прежде всего, сохранить то, что прежде всего должно быть устранено: самодеятельное плутовство и шептание дипломатии за кулисами. Было бы странно, если бы господин Михаэлис не согласился на такую «парламентаризацию» дипломатии.

Все эти ухищрения ничего не помогут. То, что одно только может помочь, уже высказано в Учредительном Адресе первого Интернационала: рабочий класс должен «сам проникнуть в тайны интернациональной дипломатии, наблюдать за дипломатическими проделками правительств, всеми находящимися в его распоряжении средствами противодействовать этим пределкам и, если они окажутся уже совершенными, об'единиться для одновременного публичного обвинения и провозглашать простые законы морали и права, регулирующие взаимоотношения отдельных лиц и в то же время долженствующие сделаться высшими законами международных отношений».

ЗАДАЧА МОМЕНТА.

(26-го сентября 1917 года).

Моммзен в своей Римской истории рассказывает о племени япигов, которое в доисторические времена проживало на Калабрийском полуострове, на крайнем юго-востоке Италии. Оно оставило довольно много надписей на своеобразном языке, но эти надписи не разгаданы, и мало надежды на то, что это когда-либо удастся. Моммзен приводит, как образец, этого, даже ему непонятного, наречия слова: «даунгоное платорриги боттихи».

Жаль, что Моммзен не дожил до эпохи германского правительственного социализма! «Форвертс» немедленно раз'яснил бы ученому археологу: «Шутишь, старина! «Даунгоное платорриги боттихи» означает: ответ германского правительства на ноту папы о мире—не только маска, прикрывающая поражение духа милитаризма, но и само это поражение. Своей резолюцией о мире рейхстаг раздавил его. Рейхстаг должен только высказывать правду. Германская империя—не восточная сказочная страна, где рейхстаг не мог бы всего говорить. И так ведет нас правительственный социализм навстречу прекрасных времен».

Мы не клевещем на «Форвертс», если приписываем ему эту отповедь Моммзену, так как до тех пор, пока приведенный образец япигского наречия не растолкован каким-нибудь другим, не подлежащим сомнению, образом, нельзя с абсолютной уверенностью отрицать возможность того, что япиги пророческим взором заглянули в грядущее. Но что абсолютно невозможно, по крайней мере, для всякого честного и логически мыслящего человека, это—толкование, которое «Форвертс» дает ответу германского правительства на папскую ноту о мире: толкование в том смысле, что она не защитная маска милитаризма, но действительное поражение милитаристского духа. В лучше случае, о таком поражении можно было бы говорить тогда, если бы германское правительство на поставленное папой требование востановления Бельгии определенно и ясно ответило утвердительно; ведь всякий ребенок в Европе знает, что востановление Бельгии есть первое и главнейшее предварительное условие мира. Только тогда, когда это условие и другие требования, которые вообще обусловливают прочный мир, будут полностью обеспечены, может идти речь о каких-нибудь интернациональных трибуналах мира и всеобщем разоружении. Если германское правительство в своем ответе соглашается с этими общими требованиями папской ноты о мире, но вопрос о востановлении Бельгии обходит многозначительным молчанием, то оно этим просто говорит: «Мы согласны участвовать в постройке крыши, но отказываемся принимать участие в сооружении тех стен, которые только одни могут поддерживать крышу». Это же, другими словами, означает: милитаристский дух и не думал уходить, а только напяливает на себя защитную маску.

Однако, нельзя отрицать того, что это же уступка милитаризма требованиям времени, если он видит себя вынужденным надевать эту маску, и постольку германский ответ на папскую ноту означает, конечно, известный шаг вперед. Только этот прогресс совершается в походном темпе австрийского ополчения. Ибо, если господин фон-Бетман-Гольвег еще в ноябре прошлого года согласился с требованием интернациональных мировых судов, а ныне господин Михаэлис, в весьма прозрачной и потому двусмысленной форме, присоединился к требованию всеобщего разоружения, то европейская культура может быть давным-давно до последнего корня уничтожена, пока германское правительство из

туманной области платонических мирных пожеланий доберется до твердой почвы реальных шагов для приближения мира.

Но из справедливости, однако, не следует эти черепашьи шаги приписывать их злой воле. Если никто не обязан на самоубийство, то нельзя не признать, что германское правительство не может быть одушевлено той тоской по «соглаcительному» миру, которую выдумывают для нее шейдемановцы. Уже те уступки, которые оно делает в ответе на папскую ноту о мире, весьма большая жертва с его стороны. Оно этим признает, что нужна была трехлетняя мировая война с ее ужасными последствиями для того, чтобы убедить его в том, чего оно целых десять лет не хотело понимать. И если в австрийском ответе на папскую ноту о мире усматривают более искреннюю любовь к миру, то тем более приходится жалеть, что в австрийском ультиматуме Сербии незаметно было ни малейшего следа этого миролюбия. Это так же относится к правительствам центральных держав, как и к правительствам противной стороны. «Согласительный» мир между правительствами, сколько бы о нем ни болтали, уже потому невозможен, что все правительства одинаково охвачены безумием и одинаково виновны в том, что европейская культура на краю гибели.

Мир возможен только тогда, если народы сами его создадут. По отношению к этому миру народов правительственные социалисты всех стран совершают позорное предательство, если они отговариваются тем, что способствуют «согласительному» миру правительств. Их первой заботой должно было бы быть устранение осадного положения, которое душит голос масс. И если «Форвертс» нудно и пространно врет о том, что рейхстаг в Германии всесилен и ему только стоит раскрыть рот, как немедленно свалится туда парламентарная система, то мы отвечаем: К чорту вашу нелепую «парламентаризацию», но, если вы так всесильны, как утверждаете, то возвратите же ту чуточку свободы слова и собраний, которая до 4-го августа 1914 года существовала в Германии. Но об этом «Форвертс» умеет только высокопарно разглагольствовать, и это вполне понятно. В своем нынешнем виде он, ведь, ничто иное, как детище осадного положения. И кто же решился бы от таких возвышенных натур, как Эберт и Шейдеман, ожидать безбожного преступления—отцеубийства! С тем большим основанием можно на-

деяться, что независимая социал-демократия поймет задачу момента. Не надо переоценивать парламентаризма, и в Германии менее всего имеется основание для этого, но, как во времена закона против социалистов, трибуна рейхстага ныне последнее убежище свободного слова, которое может совершить чудеса, если попадет на почву, жаждущую его.

РАЗРОЗНЕННЫЕ И ФАЛАНГА.

(13-го октября 1917 года).

В последнем субботнем номере «Лейпцигской Народной Газеты» уже доказывалось, что блок большинства рейхстага, который 19 июля принял, так называемую, резолюцию о мире и, будто, должен гарантировать всеобщий мир, представляет из себя внутренне бессвязное образование, с каждым днем все больше распадающееся. Как ни убедительно это было доказано, но «Либеральная Корреспонденция», оффициальный орган прогрессивной партии, все же счел необходимым поставить точку над и и так отхлестать по щекам пресловутую резолюцию, как еще никогда не осмеливалась рука ни одного пангерманского нечестивца.

«Либеральная Корреспонденция» говорит, что каждый из трех мирных договоров, которые Бисмарк заключил после победоносных войн, основан на мире «соглашения». Заключая мирные договоры с Данией, Австрией и Францией, Бисмарк ровно ни от чего не отказывался и не отрекался, и столь же мало партии, принявшие резолюцию 19 июля, думают о каком-либо мире на основе отказа от справедливых требований. «Либеральная Корреспонденция» говорит это от имени одной из партий, образующих блок большинства. И если она права, то, действительно, совершенно непонятно, почему блок спорит с пангерманцами. Ведь, по существу дела пангерманцы не требуют больше того, чего достиг Бисмарк в тех трех мирных договорах; разве только имеется некоторое различие в степени, поскольку аннексионистская ярость пангерманцев совершенно безгранична и бессмысленна, тогда как Бисмарк «при вынужденных им уступках территории» проявил известное благоразумие и умеренность, по крайней мере, в 1864 году и особенно в 1866 году.
[illegible] в 1871 году, хотя он и в этом случае оказывал не-

которое противодействие безудержному аннексионизму военной партии.

Каждый ребенок знает, что в 1864 году маленькая Дания только после тщетной борьбы с двумя великими державами согласилась на уступку Шлезвиг-Голштинии. Каждый ребенок знает, что спор из-за добычи вызвал войну 1866 года, которая так сразила Австрию и немецкие срединные государства, что они согласились на аннексию Пруссией Ганновера и т. д. Каждый ребенок знает, что мир 1866 года таил в себе войну 1870—71 годов, и что Франция только тогда позволила отнять у себя Эльзас-Лотарингию, когда ее сила сопротивления пришла к концу. Странно, что «Либеральная Корреспонденция» еще не сослалась, как на «согласительный» мир, на мир в Тильзите, где прусский король Фридрих-Вильгельм III растроганно бросился в об'ятия Наполеона в благодарность за то, что тот отнял у него больше половины прусской монархии.

Во всяком случае, своими комментариями либеральный орган достиг максимума возможного: он прямо об'явил мирную резолюцию 19 июля клочком бумаги. С каждым днем блок большинства все более превращается в пеструю шайку разрозненных, что напоминает слова поэта:

«Так поспешно, словно разразился над ними гнев неба, он обращается в бегство, бросая оружие; и все войско разбегается по полям».

Однако, на этот раз позорное бегство вызвала не Св. Дева, как в трагедии Шиллера, а весьма несвятая особа: немецкая отечественная парти, тяжелая индустрия, в союзе с юнкерством, милитаризмом и всеми прочими реакционными элементами в Германии. И это подлинная фаланга, под мощными ударами которой разлетаются отдельные высевки, сдутые в блок большинства рейхстага. Национал-либералы, тоже немного кокетничавшие с блоком большинства, немедленно со всеми своими пожитками перебежали к фаланге, и либералы, и ультрамонтаны большими толпами стекаются к ней, так как инстинкт подсказывает им: «там более верный барыш».

Но наши добрые правительственные социалисты, сущность и краса того блока! Как умел «Форвертс» поносить, когда «Лейпцигская Народная Газета» назвала резолюцию рейхстага «неясной и двусмысленной». А теперь он дожил до того, что пангерманская печать спрашивает, почему он

не направляет этих «кипящих бешеной злобой слов» также по адресу «Либеральной Корреспонденции». Однако, «Форвертс» прячет голову в песок, по которому проносятся разрозненные, и покорно принимает все пинки. Но, разумеется, «большое дело» они все-таки проектируют: они хотят интерпеллировать правительство о его позиции по отношению к отечественной партии, и для того, чтобы достойно подготовить «большую интерпелляцию», они даже голосовали за то, чтобы весь рейхстаг на восемь дней исчез в секретке...

Читателям, желающим уяснить себе сущность правительственного социализма, мы можем только рекомендовать прочитать, что говорит в своих сочинениях Лассаль о безголовой и предательской политике тогдашней либеральной партии. Во времена Лассаля на страницах каждой либеральной газеты уверялось, что если бы правительство отказало партии юнкеров в поддержке,—они не могли бы провести в ландтаг даже столько депутатов, сколько нужно для того, чтобы наполнить одну пролетку. При тогдашнем состоянии исторической науки это воображение, несмотря на всю его пошлость, было еще до некоторой степени понятно. Однако, если ныне шейдемановцы воображают, что господин Михаэлис ради их прекрасных глаз порвет с отечественной партией, то, право, их уму нельзя сделать даже самого слабого комплемента. Господин Михаэлис остережется, так как если бы он в настоящее время грубой рукй коснулся этого осиного гнезда, он был бы на завтра конченный человек. В лучшем случае, т. е. для зависимых лучшем, он ответит на «большую интерпелляцию» привычными для него многозначительными словами, в которых правительственные социалисты смогут копаться, как римские священники в брюхе жертвенного животного.

Между тем, весь этот шум закончился тем, что господин Михаэлис на пленуме рейхстага отказался назвать цели войны, а бельгийский вопрос оставил за собою, как об'ект торга для той чудодейственной дипломатии, образцами которой мир может восторгаться по мексиканским подвигам господина Циммермана и аргентинским подвигам господина Луксбурга. В таких руках жизненные интересы немецкого отечества, без сомнения, так отлично охраняются, что отечественной партии едва ли остается чего-либо больше же-

лать; и пангермацы выражают свое полное удовлетворение этой военной и мирной политикой имперского канцлера.

При всех мрачных перспективах надо, однако, признать, что распад блока большинства и быстро прогрессирующая чахотка правительственного социализма—означают шаг вперед. Этот шаг надо приветствовать, так как он убирает с дороги всевозможный, ненужный хлам и ставит рабочий класс перед старым лозунгом: hic Rhodus, hic salta! Ибо только он один может, если вспомнит свои старые принципы и свою прежнюю силу, соорудить вал, о который юнкерски-капиталистическая фаланга должна разбиться, и разобьется.

ТРАГИЗМ ИЛИ БЕЗУМИЕ?

(10 декабря 1917 года)

В номере 293 от семнадцатого числа этого месяца «Лейпцигская Народная Газета» печатает — не без оговорок—статью А. Штейна, содержащую резкие обвинения против политики большевиков. Мы не будем и не хотим оспаривать того, что эта статья является отголоском той тревоги, которую действия тт. Ленина и Троцкого возбудили и все еще возбуждают в кругах независимой социал-демократии. Мы не будем и не хотим рассеивать всех сомнений, которые в этом отношении возникли, так как для этого нам недостает фактического материала. «Лейпцигская Народная Газета», в примечании редакции к статье А. Штейна уже указала на ту «весьма скудную информацию» о положении дел в России, которой мы пока располагаем.

К известной осторожности в суждении побуждает уже тот факт, что единственный промах большевиков, о котором мы с немецкой точки зрения с некоторой уверенностью можем судить, свидетельствует скорее о слишком большой доверчивости, нежели о беспощадном терроризме. Мы имеем в виду их переговоры с шейдемановцами, которые облегчили этим честным патриотам прибыльное мошенничество, а последовательных социал-демократов сперва оттолкнули от большевиков. Однако, и здесь более точное выяснение всех обстоятельств в значительной мере способствовало их оправданию, как это доказывает «Лейпцигская Народная Газета», в другом месте того же самого номера, в котором помещена статья А. Штейна.

Что же касается самой статьи, то уже ее заголовок делает, по нашему мнению, слишком большие уступки буржуазным представлениям. Искони революционный терроризм опровергался тем реакционным аргументом, что демократическая партия, завладевающая властью, этим самым «нарушает принципы демократизма». Эту несколько дешевую аргументацию по справедливости следовало бы предоставить буржуазным противникам. Если хотеть выразить проблему большевизма в краткой формуле, то надо сказать не «демократия или диктатура?», а «трагизм или безумие?». Другими словами: лишились ли тт. Ленин и Троцкий, которые в течение ряда лет и даже десятилетий показали себя смелыми и проницательными передовыми бойцами пролетариата, лишились ли они внезапно рассудка, или они как раз благодаря своей и своих сторонников революционной энергии попали в трагическое положение, которое заставляет их многое делать и от много отказываться такого, чего бы они не делали и от чего бы не отказывались—если бы располагали свободой действия. А. Штейн цитирует заявление Лозовского, где буквально говорится, что Ленин и Троцкий поступают «наперекор здравому смыслу» и, как марксисты, не хотят считаться с об'ективными условиями, которые, перед лицом угрожающей опасности катастрофы, обязывают их немедленно прекратить борьбу внутри революционной демократии ради общей борьбы с контр-революцией. Но марксисты вспомнят, что подобные упреки при подобной же обстановке направлялись по адресу самого Маркса. В 1848 году Маркс и Энгельс, в стране, по преимуществу еще земледельческй, стояли во главе революционной партии, победа которой была связана с предпосылкой развитой крупной промышленности и современного массового пролетариата. Но они были глухи по отношению к предложениям слиться с другими демократическими и социалистическими партиями для борьбы с общим врагом и, если они не достигли власти, то все же (каждый номер «Новой Рейнской Газеты» доказывает это), на случай своих побед, они имели в виду «только о д н о средство для того, чтобы сократить, упростить, концентрировать ужасные смертные судороги старого общества и кровавые муки родов нового общества—революционный терроризм».

Разве из этого можно заключить, что они не учитывали об'ективные условия, употребляя выражение, имеющее по-

дозрительный привкус настоящей буржуазной фразеологии? Они весьма учитывали их, но они знали, что революция не решается так просто и удобно, как счет по таблице умножения. Но они в начале пятидесятых годов ожидали пробуждения революции. Энгельс писал Вейдемайеру:

«На практике мы всегда будем вынуждены настаивать на решительных мероприятих и абсолютной беспощадности. И в этом заключается опасность. Я предвижу, что в один прекрасный день наша партия, благодаря растерянности и дряблости всех других партий, принуждена будет взять власть и, в конечном счете, все-таки проводить вещи, которые не в наших интересах, а, главным образом, в интересах революционного и специфически мелко-буржуазного большинства. И потом, под давлением пролетарских масс, связанные своими собственными, более или менее неправильно истолкованными, брошенными в пылу полемики, произнесенными или даже напечатанными словами и планами, мы будем вынуждены на такие коммунистические эксперименты и скачки, о которых мы сами лучше всего знаем, насколько они несвоевременны. При этом мы потеряем голову—надо надеяться, только в физическом смысле—и наступит реакция; и, пока мир будет в состоянии произнести исторический приговор, мы будем считаться не только бестиями, на что наплевать, но и глупцами, что уже гораздо хуже».

Этой точки зрения не следовало бы забывать, когда судят—без достаточного знакомства с положением дела—о действиях большевиков, которые кажутся нам неправильными, несвоевременными и даже опасными и, быть может, действительно, таковы. Возможно, что их победа означает только высший предел трагедии. Но несомненно также, что их беспримерная революционная борьба не закончится смехом филистеров, не даст им повода для ликования.

НЕМЕЦКАЯ БЮРОКРАТИЯ.

(22-го декабря 1917 года).

В эти «веселые, трогательные, рождественские дни», рядом с мирными переговорами в Бресте, продовольственный вопрос особенно занимает внимание всех слоев населения.

Любопытна в этом отношении статья Герлаха в «Вельт

ам Монтаг» («Мир в понедельник»), в которой остроумно показывается, как полнейшая растерянность в продовольственной области «должна дополняться всеобщим плутовством»—дабы обеспечить большинству нации кое-какое питание. Герлах спрашивает, неужели так-таки нет из этого бедствия выхода, и неужели приходится впасть в отчаяние и покориться этому безобразному положению вещей? Если так будет еще долго продолжаться,—мы дойдем до полного физического истощения и нравственного маразма.

Господин Герлах знает один выход. Он полагает, что среди всех людей, которые до сих пор на ответственных постах занимались продовольственной политикой, никто не сумел так завоевать к себе доверия, как господин Михаэлис. А потому пусть оставят его, так как он, к счастью, уже не имперский канцлер, во главе продовольственного ведомства с диктаторскими полномочиями. Такая продовольственная диктатура только тогда возможна—если будет причесана по-военному. Но господин Михаэлис, кажется, майор или подполковник; пусть назначат его главой всего продовольственного дела и дадут ему власть над всеми учреждениями в империи. Другого выхода господин Герлах больше не видит.

Как осторожный человек, который на прусской бюрократической лестнице добрался до ассесора или даже, если мы не очень ошибаемся, до заместителя ландрата, господин Герлах намеренно остерегается утверждать, что предполагаемый им эксперимент непременно удастся. Он ограничивается надеждой, что он м о ж е т удасться. Допустим, что господин Михаэлис оправдает надежды, возлагаемые на него господином Герлахом, и будет таким же хорошим продовольственным диктатором, каким он плохим был имперским канцлером. Но простым последствием этого факта было бы только то, что он принужден был бы исчезнуть с поста продовольственного диктатора еще быстрее, нежели он исчез с поста имперского канцлера. На счет этого такой знаток прусской бюрократии, как господин Герлах, право, не должен был бы предаваться даже скромным иллюзиям.

Прусская бюрократия,—которая, ведь, более или менее является стержнем и образцом всей немецкой бюрократии,—с самого начала была «причесана по-военному». Она возникла около двухсот лет тому назад в тесной связи с прусским милитаризмом, как его ведомство по набору, осмотру

и управлению. Первый насадитель палочной дисциплины в прусской армии, король Фридрих-Вильгельм I, создал вместе с тем и прусскую бюрократию, и по следующим принципам, изложенным им в 1714 году: «Своему господину должно служить душой и телом, не за страх, а за совесть, и жертвовать для него жизнью и всем имуществом, за исключением небесного блаженства. Оно—Божие, но все остальное—мое. Вы должны плясать по моей дудке или, черт дери меня, я велю вешать и жарить, как царь, и поступлю с вами, как с мятежниками». Эти положения—великая хартия, основа конституции прусской бюрократии, и эта конституция отличается от конституции прусского государства, во всяком случае, тем, что сохранилась в своей первобытной красоте в продолжение двух столетий.

Ост-эльбское юнкерство вскоре овладело не только армией, но и бюрократией, и этому развитию способствовал, хотя не Фридрих-Вильгельм I, но зато его сын, так называемый «великий» Фридрих. Однако, как в армии, так и еще более в бюрократии, совершенно невежественные юнкеры не могли обойтись без буржуазной интеллигенции, и, несомненно, среди прусских бюрократов бывали люди, которые считали задачей своего поста—представлять общенародные интересы. Только они всегда достаточно платились за это!

Когда «великий» Фридрих, после семилетней войны, страшно разорившей и опустошившей прусские провинции, ввел «французскую систему» угрожавшую отнять у изголодавшегося населения последний кусок хлеба, тайный советник Урзинус написал верноподданнический доклад, в котором обращал внимание короля на опасные последствия его плана, и Урзинус сумел так осветить перед благородными министрами тяжелое состояние страны, что они все подписались под докладом. На это король ответил указом, в котором благородные министры, правда, прощались, «в виду их невежества», но на «инициатора» за его «злую шутку» налагалось примерное наказание, «а то эти канальи никогда не научатся субординации». Урзинус был лишен звания и заключен на год в крепость. Подобные же случаи господин Герлах, наверно, знает дюжинами.

Как раз самые восхваляемые прусские министры никогда не заблуждались на счет беспомощности и безмозглости прусской бюрократии. Барон Штейн ругал этих «канцеляр-

ских крыс», которые ежемесячно получают жалованье от казны—и пишут, пишут, а Бисмарк еще грубее потешался над той смесью коварства и глупости, которая называется «тайный советник». Но удачнее всего охарактеризовал подлинную сущность этой породы, как раз полтора столетия после ее рождения, в 1864 г., выдающийся член прусской бюрократии, подобно Урзинусу, закончивший свою славную административную деятельность в крепости, Франц Циглер. Он писал: «Нужно быть таким вышколенным бюрократом, как я сам, для того, чтобы знать какое грандиозное чудо архитектуры представляет собою прусское государство, которому восточно-римская империя византийского императора далеко уступала в совершенстве. Нет ничего более утонченного, как метод, с которым оно подготовляет своих чиновников и, пока они не созреют, достойной всяческого признания дрессировкой, обламывает им все умственные и моральные ребра».

Разве удивительно тогда, что столетиями так воспитываемая бюрократия лишена всякой инициативы, всякой энергии и предусмотрительности? Наоборот, надо было бы удивляться, если бы она была другой. После больших побед бюрократия показывает себя столь же неспособной, как и некогда после поражения под Иеной. Как Штейн и прусская песнь правильно говорят: «идет ли дождь, сияет ли солнце»,—бюрократы довольны своей «непогрешимой неспособностью», и отвечают словами хора в «Мессинской невесте»: «Мы повинуемся, но остаемся стоять». И это не изменится до тех пор, пока «грандиозное чудо архитектуры» старо-прусского государства не будет снесено до последнего камня, и надо надеяться, что массы поймут, наконец, эту взаимную связь вещей, после того, как она в эту всемирную войну вбивалась им в головы тягчайшими палочными ударами.

НОВЫЙ ГОД—1918.

(31-го декабря 1917 года)

Счастье, что будущее скрыто от человеческого взора!

Если бы в начале протекшего года можно было предвидеть, что в его конце состоятся серьезные мирные переговоры, какими бы надеждами в течение двенадцати меся-

цев утешало бы себя тоскующее человечество, чтобы ныне жестоко разочароваться! Ибо мы все знаем, что мирные переговоры в Брест-Литовске не приведут к всеобщему миру народов, а только—даже если они удадутся, и тогда подавно послужат началом нового и, быть может, более ужасного периода всемирной войны.

Подобные же мысли о мрачном будущем мучили главу немецкой философии, когда в 1795 году прусское государство заключило Базельский мир с французской революцией. Кант написал тогда свой «Философский проект вечного мира» и во главе гарантий, которые он считал необходимыми для прочного мира, он поставил требование, что ни один мирный договор не может быть признан—если он составляется так, чтобы послужить материалом для будущей войны. Базельский мир Кант, вообще, не признавал миром. И насколько он был в этом прав показало ближайшее будущее: прусское государство, в течение десяти лет тешившее себя пустой мечтой, что в Базеле оно раз навсегда покончило с французской революцией, в результате испытало горькое пробуждение.

Так как история никогда не повторяется, то было бы ошибочным начинанием во всем проводить аналогию между миром, который прусское государство заключило в Базеле с французской революцией, и миром, который ново-прусская империя собирается заключить с российской революцией в Брест-Литовске. Воспоминание о Базеле только пригодно на то, чтобы умерить самоуверенность тех, которые воображают, что сепаратным миром Срединная Европа навсегда была бы застрахована от влияния русского переворота, а также рассеять малодушие других, которые уверены, что сепаратным миром российская революция совершит самоубийство.

Самоуверенность одних так же не основательна, как и малодушие других. Революции очень живучи, если это только подлинные революции. Английская революция семнадцатого столетия и французская революция восемнадцатого столетия продолжались каждая около 40 лет (если говорить о периоде их непосредственного влияния), а какими бесконечными малыми представляются те задачи, какие разрешались английской и даже французской революцией, по сравнению с теми грандиозными проблемами, которые приходится одолевать Российской революции. Она не мо-

жет больше повернуть назад и должна идти только вперед и если ее несколько лет накалят массы громадной страны,— тогда их горячее дыхание расплавит многие медные скалы, мнящие себя ныне непоколебимыми... Тогда у дипломатов, шутки которых над «неопытностью» русских представителей в Брест-Литовске распространяются в патриотических кругах, пройдет веселое настроение, а «революционные» филистеры, которые даже в революционные дни не могут отказаться от своего педантизма и своих мещанских привычек, будут весьма опечалены...

С другой стороны, революционные романтики, хотя не столь скучны и ограничены, как революционные филистеры, но зато они иногда слишком охотно пребывают «в воздушном царстве мечты». Так как они воображают, что в революцинные времена все совершается возвышенно и благородно, в духе сантиментальной феерии, и что в эти времена человечество отказывается от своего неот'емлемого права делать глупости, то они слишком часто склонны отчаиваться, если ревлюционеры не всегда ведут себя так умно, как семь греческих мудрецов. Разумеется, очень печально, если российская революция вынуждена заключить сепаратный мир с центральными державами, вместо того, чтобы отстаивать свою первоначальную программу всеобщего и демократического мира, но разве это ее вина? Разве она в торжественных воззваниях к пролетарским массам воюющих народов не об'ясняла, что одна она не может создать всеобщего и демократического мира, и если ее крик о помощи остался без ответа,—неужели она должна теперь решиться беспомощно утонуть в кровавом море? Революционный романтик, быть может, ответит: «да». Но тогда он требует от российской революции сверхчеловеческого, чего еще ни одна революция не совершала. Армии французской революции, правда, наводнили европейский континент лозунгом: «мир хижинам, война—дворцам»; они утверждали, что несут соседним народам свободу, равенство и братство, но в конечном счете они сражались за существование своей собственной революции, и Базельский мир был менее всего примером революционной филантропии и бескорыстия. Российская революция принуждена будет взять на себя тяжесть последствий сепаратного мира, но она от этого не погибнет. И мы не должны впадать в малодушие, отчаиваться и сомневаться в ее будущем, которое, ведь, и наше будущее.

Поэтому было бы ошибочным переступать порог нового года с печальными думами, как бы продолжение ужасной всемирной войны ни сжимало каждое чувствующее человеческое сердце. Российская революция дала сигнал лучшего будущего, и чем больше препятствий нагромождается на нашем пути к этому светлому будущему, тем более мы должны укрепляться духом и напрягать все усилия, чтобы их преодолевать.

Последовательному социалисту ясен тот путь, по которому он должен идти, и каждому разочарованию он лишь противопоставит старый испытанный боевой лозунг: «Наперекор всему и не взирая ни на что!».

О ВОЕННОМ ГОСУДАРСТВЕ.

(14-го января 1918 года)

Всеобщее разочарование, которое возбудило заявление 28 декабря, конечно делает честь патриотической доверчивости разочарованных, но оно не столь же лестно для их политического смысла. Как они только могли воображать, что германское правительство открыто и искренно, практическими действиями, станет на почву демократического мира? Какой факт из германского прошлого давал им хотя бы малейшее право на эту надежду?

Быть может, ответят: фактов, разумеется, нет, но слова, которые три дня до того произнес граф Чернин, например, также от имени германского правительства. Да, слова! «Словами удобно спорить, фабриковать системы». Также демократическую» систему, от которой правительственные социалисты пришли бы в восторг. Мы совершенно далеки от того, чтобы заподозрить правительство во всевозможных барышнических трюках. При употреблении слов все зависит от того, что понимает под ними говорящий; «как я их толкую», — заметил бывший имперский канцлер Михаэлис, который, по крайней мере, этим крылатым словом обеспечил себе местечко в немецкой истории.

Если партии большинства, и шейдемановцы во главе их, воображают теперь, что они «демократизировали» и «парламентировали» Германию и, в приятном опьянении этим, дают правительству все, чего оно требует, то неужели правительство должно этот выгодный для него и столь

сладкий для мечтателей сон рассеять суровым заявлением: «Дети, не обманывайтесь—мы все еще прежние»? Это был бы такой ригоризм правдивости, которого даже Кант не ожидал бы от человеческой слабости. Категорический императив кенигсбергского философа уже будет удовлетворен, если правительство заявит мечтателям: «Что же, если вам хочется это так называть,—мы не возражаем».

В этой книге «демократизация» и «парламентаризация» всегда рассматривались, как вещь, не стоющая ломанного гроша. Какая, собственно, разница между Гертлингом, Михаэлисом и Бетманом? Разве только та, что один более ловко справляется со словами, нежели другой. Но по существу дела даже с микроскопом не отыщешь разницы между ними. Они говорят сегодня «да», а завтра «нет», послезавтра же доказывают, что их «нет» означает, собственно «да». И верующие не перестают верить. О буржуазных партиях не стоит говорить: известно, что они, и особенно либералы, живут самообманом. Но что правительственные социалисты, которые все-таки когда-то хоть нюхали Маркса, могут серьезно воображать, что большое военное государство со столетней традицией может одной или двумя двусмысленными резолюциями бессильного рейхстага одним махом быть свалено, это значит—значительно продвинуть пределы человеческой глупости.

Никогда еще военное государство, вело ли оно победоносную или даже не совсем успешную войну, добровольно не отказывалось от тех завоеваний, которые оно при данных обстоятельствах могло совершить или даже имело только некоторую надежду совершить. Было бы бессмысленно обвинять его за это, ибо никто не может поступать против своей природы. Большое военное государство, в длительную войну проливавшее потоки народной крови, не может, в награду за сви труды, удовлетвориться утешительным сознанием, что оно добилось прочного мира на демократической основе, т. е. добилось такого международного положения, которое делает существование его и ему подобных на вечные времена невозможным. Даже одно голое требование, своим благородством сделать себя бессмертным, не входит в круг его представлений; оно не понимает этого, как не понял бы это, впрочем, каждый другой, кто торчал бы в его шкуре. Кто проливал бы потоками кровь и пот только для того, чтобы обеспечить себе уверенность в своем самоубийстве?

Жалобами на заявление 28 декабря, таким образом, ничего не достигнуто. В нем высказывается то, что есть,—неприглядная правда, преимущество, которым не отличаются ни красивые речи графа Гертлинга, ни смягчающие речи господ фон-Бетмана и Михаэлиса. Правда,- воля немецких народных масс решительно противится заявлению 28 декабря, значение этого факта нисколько не умаляется шумом отечественной партии и иже с нею. Но спрашивается, удастся ли организовать эту волю в такой противовес, который сможет обуздать аппетиты военного государства? Эту задачу должен был бы разрешить германский рейхстаг,—однако, эта замечательная корпорация уже давно с достоинством покорилась скромной роли—сидеть дома у матери, за печкой, когда решаются судьбы нации. Правительственные социалисты, с своей стороны, совершили великое деяние—интерпелляцию, направленную против заявления 28 декабря, великое «словесное деяние», в котором по знаменитым образцам их покровителей из правительства, все зависит от того, как понимать слова. Как все партии, попавшие в тупик, из которого нет выхода, они устроили себе, как последнее убежище, кузницу резолюций, из которой они рассылают по миру свои «протесты и опровержения». Но военного государства не запугаешь тем, что его пленники гремят своими кандалами, и даже стыдливые угрозы, на которые шейдемановцы окольными путями, подкрадываясь сзади, решаются, столь же мало поколеблют его, как может поколебаться гранитная башня от того, что толпа ребятишек пытается свалить ее ракушками.

Итак, теперешнее положение достаточно безотрадно. Но все-таки: последовательный социализм никогда не должен и не может отчаиваться; он только тогда был бы потерян, если бы сам сдал позиции. Его неот'емлемый наследственный жребий—и при треске крушения не терять мужества. Как умирающий Сен-Симон утешал небольшую группу своих последователей словами: «Только вдохновенные совершают великие дела», как умирающий Родбертус, когда его надежды на социальные реформы разбились о корыстолюбие господствующих классов, все-таки видел будущее в дивном розовом сиянии, так и мы сквозь ночные грозовые тучи видим мерцание утренней зари нового дня. И мы еще не умираем,—мы полны свежей и бодрой жизни.

